

**В. А. Котельников**

## **«ДАМА С ПОХОРОН ДОСТОЕВСКОГО»**

В многочисленных критических суждениях о Н. С. Лескове, появлявшихся в конце XIX – начале XX в., явно различим голос Достоевского. Эти суждения или прямо восходят к его мнениям, или весьма близки к ним по общности литературно-эстетических критериев.

Еще в 1873 г. в VII главке «Дневника писателя» («Смятенный вид») Достоевский, назвав «Запечатленного ангела» «сочинением и характерным и занимательным», признался, что у него оно оставило «впечатление болезненное и некоторое недоверие к правде описанного» (21; 54, 56). Раздраженный такой оценкой, Лесков в апреле того же года в газете «Русский мир» выступил с двумя заметками (под псевдонимами «Псаломщик» и «Свящ. П. Касторский»), в которых обвинял Достоевского в невежестве относительно церковных дел и быта духовенства. Ответом на заметки стала главка X «Дневника писателя» («Ряженный»), где Достоевский, уже дав волю своей язвительности, разоблачает неуклюжую маскировку оппонента и почти прямо обращается к настоящему автору выступлений. Здесь и появляются знаменитые определения лесковского писательства: «автор-типичник», который различает общественный тип лишь тогда, когда он сложился вполне, причем в речи его «типических» персонажей всегда «пересолено», поскольку они постоянно «говорят эссенциями», в стиле преобладает «работа вывесочная, малярная», а не художественная, и «чувство меры уже совсем исчезает» (21; 88-89). Здесь же Достоевский дает свой совет писателю, у которого «отчасти душа кочкаревская»: «Тут, видите ли, чтобы понимать что-нибудь в душе человеческой и „судить повыше сапога“, надо бы побольше развития в другую сторону, поменьше этого цинизма, этого „духовного“ материализма; поменьше этого презрения к людям, поменьше этого неуважения к ним, этого равнодушия. Поменьше этой плотоядной стяжательности, побольше веры, надежды, любви!» (21; 86). Совет, конечно, неисполнимый для Лескова.

В 1899 г. в № 30 «Нивы» был посмертно напечатан лесковский этюд под заглавием «Рассказы кстати (По поводу „Крейцеровой сонаты“»)». Он предварялся эпитафией, сделанной из слов толстовской повести, взятых из предпоследней ее литографированной редакции и отсутствующих в окончательном тексте, да к тому же измененных Лесковым не в пользу идеи Толстого. Сам рассказ начинался так: «Хоронили Федора Михайловича Достоевского. День был суровый и пасмурный. Я в этот день был нездоров...» Лесков сообщает, что он «проводил гроб до ворот Невского

монастыря», но в ограду его не пропустили, и далее повествует о приходе к нему домой некоей «дамы с похорон Достоевского».<sup>1</sup>

Вскоре М. О. Меньшиков обратился к этому рассказу и в статье «Прикрытый грех», пользуясь полной откровенностью его автора (или удачной ее симуляцией), попытался показать глубокую противоположность этических позиций Лескова и Достоевского.

Обильно цитируя, подробно пересказывая эту «историю, полную тьмы и ужаса»<sup>2</sup>, Меньшиков все внимание сосредоточивает на моральных рассуждениях писателя и его поступке. Суть события в том, что после похорон Достоевского к Лескову пришла женщина, которую мучила ее тайная измена мужу. По ее словам, два разговора об этом с Достоевским не принесли ей облегчения, и вот она пришла за советом к Лескову. Критика настаивает на переданных писателем слова женщины о надежде на его «практицизм». «Не чувствуете ли вы при этом словечке, — спрашивает Меньшиков, — как будто проскользнуло что-то нечистое в этом покаянном слове? Что в борьбе с каким-то духом, овладевавшим ею и едва — перед могилою „пророка“ — не овладевшим, она ищет для души своей защитника более искусного, чем она сама?»<sup>3</sup>

Приводя размышления Лескова о выборе в данной ситуации между «совестью» и «практицизмом», Меньшиков останавливается на главном тезисе писателя-гуманиста: «Человек — вот кто дорог мне, и если можно не вызывать страдание, зачем вызывать его». И это действительно руководящий в моральном сознании и в творчестве Лескова тезис. Для критика же он более чем сомнителен, как и второй довод писателя в пользу «практицизма». И о происходившей далее беседе с гостьей он говорит: «Противнее этой „беседы“ — да простит мне эту резкость тень человека, которого я знал и любил, — противнее этой беседы я давно ничего не читал»<sup>4</sup>. Причина отвращения его, конечно, та, что в итоге «„практицизм“ победоносно вышел из затруднения, решил задачу, казавшуюся безвыходной. Тут все хорошо — и жалость к невинному мужу, которому сознание жены могло бы причинить страдания, и жалость к детям и даже к комфортабельной обстановке...»<sup>5</sup> Плохо то, что «практицизм» не спас и не мог спасти ее душу.

---

<sup>1</sup> Лесков Н. С. Рассказы к стати (По поводу «Крейцеровой сонаты») // Нива. 1899. № 30. С. 557–564. А. Н. Лесков сообщает: «В 1890 году набрасывается не то полупролог, не то первая, по лесковской манере, вступительная часть остро психологического опуса „По поводу Крейцеровой сонаты“, по другому наименованию — „Дама с похорон Достоевского“» (Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова по его личным, семейным и несемейным запискам и памяткам: В 2 т. М., 1984. Т. 2. С. 99). А. Волынский, будучи, «уже в последний период жизни» писателя, свидетелем «устной импровизации» его на эту тему, сообщает о ней в своей второй статье о Лескове, вспоминая, что «рассказ должен был называться „Дама с похорон Достоевского“» и что тогда «конца рассказа Лесков, насколько помнится, не передавал, — кажется, он был для него самого не выяснен» (Волынский А. Л. Н. С. Лесков // Северный вестник. 1897. № 2. С. 281–282. Литературные заметки).

<sup>2</sup> Меньшиков М. О. Прикрытый грех // Меньшиков М. О. Критические очерки. СПб., 1902. Т. 2. С. 175.

<sup>3</sup> Там же. С. 179.

<sup>4</sup> Там же. С. 181.

<sup>5</sup> Там же. С. 185.

Завершающийся смертью ребенка и жуткой (чрезмерно жуткой) гибелью собеседницы Лескова рассказ побуждает Меньшикова задуматься о состоянии грешницы после этой «беседы» и о возможности иного исхода ее судьбы. Он не признает в жизни человека нескольких «независимых» драматических сюжетов, а видит «единственную драму — борьбу души человеческой за свою *жизнь*, то есть за чистоту свою и святость»<sup>6</sup>. Отказ героини рассказа, по совету Лескова, от такой борьбы привел ее душу к ужасному концу. «Я убежден, — развивает возможный ход драмы критик, — что если бы эта несчастная мать тогда, три года тому назад, покаялась перед мужем и перенесла ужасный стыд, и унижение, и нужду, если бы, говорю я, она очистилась тогда и примирилась, сколько могла, с совестью своей и Богом, т. е. признала громко и торжественно Его закон правды и вступила бы в него, — то теперь, при внезапной смерти мальчика, ее горе было бы иного рода. Жгучее было бы горе, страшное, но выносимое»<sup>7</sup>. Она же не вынесла его, потому что разрушено было основание ее души. Она еще прежде пыталась восстановить его, когда дважды прибегала к Достоевскому, и «он приподнимал ее над бездной»<sup>8</sup>, приподнял последний раз в день похорон, «но она опять бултыхнулась — пошла за советом к Лескову»<sup>9</sup>.

«Скажи ей Лесков то самое, что, по-видимому, сказал Достоевский, с грубостью и нежностью, то есть, с искренностью сердечной, — она пошла бы, может быть, и покаялась»<sup>10</sup>, — допускает критик. Но Лесков внушил ей другое решение.

А. Волынский предложил не лишнее оснований объяснение такого поведения Лескова: «Быть может, не склонный по природе к чистосердечному самообличению, он бессознательно хотел логическими доводами, прикрытыми ходячею моралью, указать на какие-то свои преимущества перед Достоевским в этом щекотливом вопросе»<sup>11</sup>.

Меньшиков осторожно реконструирует моральную коллизию между Лесковым и Достоевским, в центре которой оказалась героиня. «Лесков — человек иного, нежели Достоевский, духа — родственного ему, но иного, без трагической черты какой-то, без черты пророческой. Он не без самодовольства отмечает свой „практицизм“ — а уж у Достоевского-то, судя по его творчеству, этого практицизма не было и тени. Он весь был отвлечение, весь идея, хотя бы иной раз и фантастическая и недобрая. И вот живой талантливый писатель, взвесив практически все условия, отменяет (как надо думать) слишком строгий, слишком страшный суд покойного писателя. Тот говорил (по-видимому): „Иди покайся!“. Этот говорит: „Обожди немного, перемелется — мука будет“. Этот легонький, доступненький совет — тоже роль, и огромная по значению в этой драме»<sup>12</sup>.

---

<sup>6</sup> Там же. С. 193.

<sup>7</sup> Там же. С. 194.

<sup>8</sup> Там же.

<sup>9</sup> Там же.

<sup>10</sup> Там же. С. 191.

<sup>11</sup> Волынский А. Л. Н. С. Лесков // Северный вестник. 1897. № 2. С. 282. Литературные заметки.

<sup>12</sup> Меньшиков М. О. Указ. соч. С. 191.

«Как жаль, — заключает уже без снисхождения Меньшиков, — что не известен разговор несчастной героини лесковского рассказа с Достоевским. Но разговор ее с Лесковым — как жаль, что он сделался известен. Лучше бы не было вовсе в русской литературе этого урока „практицизма“, поучительного разве своею фальшью»<sup>13</sup>.

В русской литературе они, возможно, и редки, но в житейских и литературных делах Лескова такие уроки, в прямой или косвенной форме, преподаются неоднократно.

Искренне удивляется критик «помрачению Лескова», когда тот оправдывает взаимное умолчание супругов о своих изменах и связывает это с «равноправием женщины»<sup>14</sup>.

Но это отнюдь не «помрачение», а склонность писателя временами легко подхватывать популярные идеи и настроения, в частности, «женскую эмансипацию». Его приверженность «патриархальным идеалам» не мешала его чувственности симпатизировать новым версиям жоржзандизма, и, вероятно, как отклик на это возникает у Меньшикова французский сюжет: «Рецепт, рекомендованный Лесковым, чисто французский, прямо как будто выхваченный из буржуазного „практицизма“ *du ménage en trois*»<sup>15</sup>.

«Как это ни тяжело признать, — завершает Меньшиков свою характеристику лесковского поступка, морального и литературного, — но в рассказанной истории роль, выпавшая Лескову, оказалась непосильной для него, и выполнил он ее очень плохо. Советы, которые писатель дал героине этого живого романа, достойны „практика“, но не писателя. И если бы он сочинял собственные романы по своему рецепту, то они были бы ничтожными»<sup>16</sup>.

Подведем итог этому незамысловатому, но характерному сюжету.

При как будто бы главенствующем морально-практическом и жизненно-психологическом задании очевидна сугубая и местами нарочитая *литературность* текста: нагнетание таинственности в начале, умелое разведение и противопоставление автора как разрешителя мучительной для героини нравственной проблемы и «того» (как именует она Достоевского), который разрешить ее не смог; афористический пассаж загадочной дамы о том, что такое настоящая любовь, и, наконец, типично лесковская композиция интриги с нагромождением сильнодействующей квазифактичности — вплоть до бульварно-беллетристических эффектов.

В IV и V главках говорится о встрече с нею через три года — то есть в 1884 г., когда Лесков действительно отправился за границу в Мариенбад. Он увидел ее сначала возле Невского по дороге на вокзал, затем на водах, что в рассказе приурочено к августу, хотя Лесков был на курорте с 4 / 16 июня по 18 / 30 июля. В документально-автобиографическом стиле (к которому вообще нередко прибегал Лесков, чтобы убедить читателя в подлинности рассказываемого им и нагнетанием вещественных подробностей устранить

---

<sup>13</sup> Там же. С. 201.

<sup>14</sup> Там же. С. 196–197.

<sup>15</sup> Там же. С. 197.

<sup>16</sup> Там же. С. 203.

подозрение в том, что это литературный прием) Лесков далее повествует, что вскоре после встречи с дамой, оказавшейся госпожой Н., ее сын умер в отеле от дифтерита, труп забрали у нее, поместили в ящик с известью (чему он был, по его словам, свидетелем) и затопили в «черном болоте», где вскоре утопилась с горя и несчастная мать. Лесков отмечает, что происшествие получило широкую скандальную огласку в городе и осталось в памяти всех тогда там бывших.

Между тем никаких упоминаний о нем в других источниках не найдено, и А. Н. Лесков, описывая пребывание отца в Мариенбаде, ни словом о таком событии не обмолвился.

В то же время известна склонность Лескова имитировать правдоподобие рассказа, обставляя его, в числе прочих декораций, атрибутами документального жанра. Потому-то он и не передал в своей импровизации Волынскому конца рассказа, что тогда он его еще не *придумал*.

В данном случае, полагаю, он хотел вымышленному сюжету придать вес ужасной истины и нанести этим изделием посмертный удар по некогда не поверившему его писаниям Достоевскому.

М. Протопопов находит такой «ключ к разгадке» писателя, у которого всегда «две цели, две заботы»: одна — рассказать что-нибудь занимательное, другая — «кого-то покарать, кому-то отомстить и в свою очередь „уязвить“»: «Предмет *повествования* г. Лескова обыкновенно не имеет ни прямой, ни косвенной связи с предметом его *обличения*, и в результате получается произведение нестройное до уродливости, нескладное до смешного»<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> Протопопов М. Больной талант. Русская мысль. 1891. № 12. С. 265.